

# Первая мировая война

## Русский воин в видении латышских писателей

Борис Инфантьев

Какое дело русскому человеку до того, как Первая мировая война отозвалась в творчестве латышских классиков?

Самое прямое и непосредственное, даже если опустить утопические постулаты национальной интеграции: ведь Первая мировая война велась русским империализмом, в конечном счете, русским народом. И какой бы нации писатель ни взялся за анализ, художественное воспроизведение событий и людей, втянутых в это необычное, трагическое обстоятельство, без русского солдата и офицера он обойтись не сможет.

При упоминании Первой мировой в сознании каждого, сколько-нибудь знакомого с латышской литературой, возникают имена прозаиков-романистов Карлиса Штрала (1881–1941) и Александра Грина (1895–1941).

И как Карлис Штрал («Война»), сам участник войны, и люди его окружения восприняли новую для них ситуацию?

«Слухи эту хорошую веру (в скорую победу России, Б.И.) в известной степени поддерживали, но только в известной степени. Приходили вести, что известный уже с Японской войны генерал от кавалерии Реннекампф уже вошел в Восточную Пруссию, продвигаясь с большими успехами вперед, что он поклялся

дать отсечь себе правую руку, если после двух-трех недель не будет в Берлине» (с. 112).

Примечательно: латышский автор не пытается даже уточнить, чьи мнения и надежды он передает — латышей или русских. Очевидно, для него в данный момент не существует между ними никакого различия.

Еще на многих страницах объемистого романа-эпопеи и военных на фронте (преимущественно, русских, хотя и здесь это особенно не подчеркивается), и штатских в тылу (а здесь, надо полагать, в первую голову учитывались латыши, хотя и русских в Латвии все еще, даже после эвакуации, оставалось немало!) не оставляет оптимистический взгляд на происходящее: «Во всех репликах и разговорах еще звучал как бы важный и торжественный оттенок опьянения, в каждом лице и взоре еще была ощутима частица надежды на победу, и эпизоды последних боев как продолжение духовного и телесного напряжения, доведенного почти до гипноза» (с. 267).

Автор отдает дань мужеству, самоотверженности своих бывших товарищей, солдат и офицеров, и так же, как раньше, не делая различий между русскими и латышами: «Многие легкораненые, казалось, даже не понимали еще, что с ними, собственно, произошло, и

только удивление и растерянность в их лицах и движениях отличали их от других, так что товарищам приходилось им указывать на то, что, мол, откуда-то из-под одежды у них сочится кровь.

Только тогда они как бы терялись, минуту сомневались, затем усердно бросались вновь в бой» (с. 267).

Если и героизм в эпопее Штралса не имеет сугубо национального обозначения, то патриотический восторг привязан латышским автором главным образом к молодым русским офицерам, юным энтузиастам, порывы которых нередко тут же гасят их более опытные, познавшие жизнь с ее противоречиями, старшие собратья, особенно если они штатского, интеллигентского происхождения.

... Действие происходит в вагоне поезда, подъезжающего к Киеву:

«А хороша же наша родина (кстати, этот текст напечатан в латышском тексте романа кириллицей! — Б.И.), — воскликнул рядом стоявший поручик. — Стоит за нее повоевать, не так ли? — отозвался в соседнем отделении вагона второй, следовало полагать, еще молодой и еще энтузиаст.

Солнце было уже низко, и в этот момент кресты многочисленных церквей отбрасывали отблески его лучей прямо в окна вагона.

— Но кресты! Но кресты! — продолжал восхищаться частично словами ремизовской поэзии молодой энтузиаст. — Не кресты, а свечи златолитые!

Капитан наверху тоже инстинктивно повернулся лицом, он хотя и не посматривал в окна, но и так знал, сколь роскошно это мерцание. Может быть, из боязни подорвать свой престиж (если бы вел себя как юноша, который в восторге бросился к окнам):

— Так вот она наша вечная матушка Русь, — проговорил он без спешки и торопливости, но с прочувствованной, где-то глубоко спрятанной силой.

— Широка и обильна... — сказал штабс-капитан за картами.

— Но порядка в ней — ту-ту, — бросил прапорщик-адвокат.

— Приходите и владейте нами, — продолжил еще кто-то» (с. 302).

«Эти фразы, — продолжает латышский автор эпопеи, — были взяты из «Русской истории» Карамзина. Нельзя было понять: то ли он иронизировал больше по поводу этого автора, или по поводу самой России, то ли гово-

рил только из-за веселого упрямства и себе, и молоденькому энтузиасту, чтобы его немного подразнить. По крайней мере последнего его слова достигли. Молоденький мальчик-поручик рассердился от всего сердца, наполненного еще со школьных лет казенным патриотизмом» (с. 303).

В данном отрывке автор явно сдает свои первоначальные дружественные отношения к русско-латышской этнопсихологической идентичности и занимает позиции явного стороннего наблюдателя, в котором красота киевских крестов не вызывает ни восторгов, ни упоминания о «великой и могучей России».

Но только что описанный эпизод характеризует чувства и переживания офицеров разных возрастных групп. А о чем думали солдаты на переломном этапе войны, когда непрестанный ряд побед, продвижение вперед и поток наград постепенно стал сменяться поражением, отступлением, разочарованием. И только остановки в больших городах несколько успокаивали солдат.

«Солдаты казались даже спокойнее, чем обычно в последнее время. Осознание близости большого города в своем тылу их успокаивало и вселяло в них смелость и строгость. Неизвестно откуда появилось, через ряды пролетело предчувствие, что Лодзь будет защищен серьезно, и они радовались теперь, что немцам смогут опять дать серьезный отпор — что начнется что-то более определенное, строгое, нежели все эти последние дни, когда они только оборонялись от преследовавших полков, как убегающий волк от собак охотника... Солдаты, уже много испытавшие, без ропота стремились утвердить другие позиции так, чтобы немцу действительно не удалось легко их оттуда выбить» (с. 350).

Свое пристальное авторское внимание латышский прозаик обращает (этому он научился у Льва Толстого) и на отдельных русских, именно русских воинов, так или иначе выделяющихся своими и внешними, и внутренними качествами от своих товарищей. К таким относится и безымянный «балагур» — сибиряк, который появляется во все самые ответственные эпизоды, изображенные в эпопее.

« Вот какая-то пуля пролетела над головами и одиноко плюхнулась в замерзшую землю. Солдаты оживились.

— Доброе утро! — весело шутя, крикнул пуле длинный забайкальский балагур. — С праздником (кириллицей в латышском тексте

романа. — Б.И.), — крикнул он второй такой же заблудившейся пуле, которая следовала за первой» (с. 365).

Над убитым шальной пулей офицером сибирский балагур произносит такую «прощальную» и в то же время поучительную речь: «Если ты офицер и еще командир роты, то командуй ротой, пей водку и играй в карты. Но не вмешивайся в дела, для которых ты не создан».

Разумеется, будущий автор романа в своей повседневной жизни видел и весьма неприглядные картины: и абсурдные стратегические установки, и трусость и предательство, и еврейские погромы, и утрату солдатами боевого пыла по мере отступления, и начинающиеся брожения среди солдат, и первые признаки разложения армии.

«Еще более демобилизирующее влияние, чем суматошные, им непостижимые маневры на фронте, приносили их наблюдения в тылу, где в недрах создаваемых городских и земских объединений, становящихся все активнее, возникали бесчисленные предприятия военного времени, увеличивая количество работников тыла с хорошо оплаченными местами почти до бесконечности, так что все лучше ситуируемые и более внимательные вливались в них, составляя вторую, еще большую армию, чем та, которой приходилось удерживать фронт. Солдаты освобождались от безразличия более или менее только в прямых битвах, где вопрос стоял о жизни и смерти» (с. 540).

В уменьшении боевого пыла, ведущего к победам и к продвижению вперед, по мнению Карлиса Штрала, немалую роль играло отсутствие у русских чисто экономической заинтересованности в удержании позиций на прибалтийской линии фронта, в то время как у немцев такая заинтересованность гнала их неудержимо вперед.

«И для большинства лучших солдат (русской армии. — Б.И.), — делает свое заключение Штрал, — что для них означала Польша? Что Литва или Курземе? То не были словами, которые особенно воздействовали бы на их чувства, которые их убедили бы в том, что в залог за них следует положить свою жизнь. Напротив, в глазах немецких солдат это были страны, богатые хлебом, другим добром, из которых можно посылать пищу в города своей родины, в их дома, где война прервала внешний ввоз продуктов для их семей, которым грозил голод».

Эпизод этот можно считать переходным к эпопее Александра Грина, которая полностью посвящена, в отличие от романа Штрала, выяснению отношений к войне латышей и русских, к войне, которая теперь целиком проходила на территории Латвии. Нельзя сказать, чтобы Александр Грин был недругом русского народа. Он интенсивно сотрудничал с газетой «Сегодня», получая за свои публикации солидные гонорары. Даже его псевдоним (подлинное его имя Екаб) — дань уважения к известному русскому прозаику. Но «Завихрение душ» («Dvēseļu putenis») написано в совершенно иной тональности, чем роман Штрала. Александр Грин отдает должное сибирским стрелкам, в свое время свершавшим подвиги. Но в Латвию они отступили, утратив большую часть своей храбрости и удали. И как поэтому могут к ним относиться латышские стрелки, которые отдачи немцам Курляндии простить никак не могут, что они не только не пытаются скрыть, но, наоборот, в силу своей прямой, откровенной души напоминают в каждом удобном и неудобном случае. Русские, естественно, довольными быть не могут. «Вот и воюй за таких!», — в устах сибиряка звучит как результат взаимного непонимания и недовольства. Кстати сказать, Николай Тихонов в своих военных рассказах-воспоминаниях также говорил о тех днях, когда русские и латыши на Даугаве сидели в соседних окопах. Но у русского писателя это совместное «сидение» выглядит совершенно иначе. Примечательно, однако, что некоторые нарекания, которые якобы и латышские стрелки высказывали по поводу неприемлемых для них русских «особенностях», возможно и не принадлежат самому Грину, а заимствованы у Куприна, который в бытность свою военным корреспондентом на Даугаве, со слов русских офицеров, отдавал явное предпочтение латышам в эффективности боевой стрельбы: латыш тщательнее целит и стреляет наверняка, чего о русском не скажешь («Военные корреспонденции с прибалтийского фронта»).

Но особое недовольство латышских стрелков, да и их командиров, занимающее много страстных страниц в романе Грина, вызывает утрированный карьеризм командира 3-ей Сибирской дивизии Триковского (ему были подчинены латышские стрелки в памятные дни событий на Пулеметной горке и в Тирельских болотах). Он безжалостно обрекает на смерть латышских стрелков вопреки воле их коман-

диров, предлагавших другие, более рациональные средства ведения боев. И тут хочется привести параллель из творчества Н. Тихонова, который в рассказе «Легкий завтрак» из книги латвийских рассказов «Военные кони» изображает такого же генерала, который медлит с приказом об отступлении и обрекает на никому не нужную гибель массы солдат и офицеров только для того, чтобы в военной режиссуре было отмечено: отступление произошло в соприкосновении с противником, в связи с чем пали смертью храбрых столько-то солдат и офицеров.

Эти параллели в творчестве Грина и русских писателей требуют еще детального изучения, в какой степени они отражают реальную действительность и не являются ли они в романе Грина реминисценцией Тихонова.

Картины Первой мировой в восприятии латышских классиков были бы ущербны без небольшого, но исключительно ценного и в художественном, и в философско-этическом плане произведения Карлиса Скалбе «Казак». С главным героем этого произведения латышский писатель — в те времена убежденный толстовец — встретился в вагоне местного поезда, направлявшегося в Елгаву. Писатель был поражен прекрасной внешностью «высокого и стройного» юноши, который «своей улыбкой уже занял место в нашем обществе», стал этому сообществу «не чуждым». «Так много неодолимой жизненности в его серых глазах и блестящих зубах, которые сами раскрываются нам навстречу, и смеются, и блестят». Но не в меньшей мере латышского писателя поразила последующая беседа с казаком, — и ее приводим здесь с небольшими сокращениями:

«У вас уже два креста!

— Так на войне получается: либо грудь в крестах, либо голова в кустах.

— Скольким же немцам вы отрубили голову? — спрашивает толстый торговец муки и, выпучив глаза, смотрит на казака в упор.

— Будет каких двадцать.

— Двадцать? Сам один?

— Ну, разумеется, сам один. Чего там этим хвалиться! Я прошел весь фронт, сам не знаю, в скольких боях я участвовал, где рубил, колот и стрелял! Однажды в Троицах — такой город есть за Варшавой — мы впустили немцев, они не знали, что мы поблизости; потом окружили городок, и ни один из них больше живым не вышел оттуда.

— Разве они не хотели сдаться?

— Кто там их тогда слушал, когда они бросали оружие и подняли руки.

— И немцы вас тоже не...?

— Ну, мы живыми им не сдаемся...

— Но скажите мне, что вы чувствуете, когда воюете?.. Э, когда колете и рубите?

Казак пожал плечами: ничего. Только чувствую, что волосы на голове поднимаются вверх. Я рублю и колю, и ничего не чувствую».

Выходя из вагона, латышский писатель не переставал думать о том казаке чубе, который единственный чувствует, что происходит на войне. Как понять, как оценить приведенную беседу? И латышский писатель-толстовец приходит к таким выводам: «Что такое казак? Ветер, солнце и буря. Казак ни злой, ни добрый. Он как природа». Но тут же многозначительно добавляет: «Вне добра и зла» хотел быть Ницше, и стал у немцев философом войны». Этот тезис наводит Карлиса Скалбе на необходимость соотнести ницшеанскую человеконенавистническую философию с русской: «Русская философия не участвовала в подвиге воинственных устремлений народа. И пока немцы ницшеанскую философию силы отливали в железный кулак, русские философы мечтали о далеких островах блаженств, о тысячелетнем царстве мира, где лев будет лежать рядом с ягненком». Но как же тогда появился казак? Он часть природы, которую, по Толстому, нельзя винить даже в причинении страданий и смерти.